

Глеб Иванович Успенский

Разговоры в дороге



Глеб Иванович Успенский

Разговоры в дороге

Серия «Кой про что», книга 10

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665975*

Аннотация

«...Основная тема рассказа посвящена семье, взаимоотношениям между мужем и женой, положению, правам и обязанностям женщины. Эта тема очень занимала в те годы Успенского... писатель рассказывает об оживлении за последние годы народной мысли и о повсеместных шумных и содержательных «разговорах в дороге» среди народа, в «третьем классе». Успенский противопоставляет им молчаливость «первого и второго классов», русской интеллигенции, ее общественный индифферентизм под угнетающим воздействием правительственной реакции середины 80-х годов и обусловленную этим эволюцию народнической интеллигенции в сторону либерализма...»

Содержание

I	4
II	18
III	27
IV	43
Примечания	45

Глеб Иванович Успенский

Разговоры в дороге

I

...Если есть в настоящее время у кого-нибудь на Руси живые темы для живого, жизненного разговора о живых, жизненных делах и вопросах, так это, поистине, единственно, кажется, только в народной среде, то есть у мужика. Оригинальность и самобытность народной речи, во многом совершенно еще непонятная для так называемой чистой публики (а ведь публика эта разная: бывает добрая и недобрая), делает эту речь и это народное слово действительно совершенно свободным, не знающим никаких стеснений, особенно если дело идет «промежду себя». Это преимущество народного разговора, важное само по себе, приобретает особенную важность и интерес ввиду того огромного материала, взятого непосредственно из жизни, который имеет в своем бесконтрольном распоряжении эта свободная народная мысль, выражающаяся в свободном слове.

В течение последних двадцати пяти лет, там, в глубине народной жизни, и с каждым годом все больше и все шире, разрастаются всевозможного рода осложнения. Новому поколению приходилось и приходится разбираться в целой

массе новых, неожиданных условий жизни, разбираться без указания, без совета (старики ничего в новом не понимают), приходится «ломать голову» над разрешением труднейшего вопроса о совести и копейке, страдать за него, разрывать связи с прошлым, переживать минуты горького сиротства, полной беззащитности и беспомощно гибнуть или же, повинувшись хоть и неясной, но светлой надежде, идти искать новых мест, новых нравственных связей, новых лучших и справедливейших материальных условий... Все эти большие народные задачи бременят и волнуют народную мысль подлинным образом; ложатся на сердце не так мимолетно, как ложатся на наше сердце, на сердце «чистой публики», хотя бы и самые возмутительнейшие жизненные факты, которые нам ежедневно приносит газета... Мы завтра забудем их, и сегодня нас уже не волнует то, что волновало вчера; опыт народной жизни не таков: он непосредственно касается человека, подлинно задевает его «за живое», выжигается на сердце, как клеймо, неизгладимо; и того, что выжжено им на сердце вчера, сегодня нельзя забыть; все это надобно обсудить, обговорить, выяснить, разобрать; надобно потому, что ведь только «своим умом» народу приходится обороняться от всевозможных неожиданностей и новостей его трудной жизни.

И галдит, без умолку галдит «третий класс» во всех поездах, бегающих по русской земле, не говоря уже о так называемых специальных, дешевых поездах, с некоторого времени

устройстваемых для переселенцев и рабочих, возвращающихся из столицы по домам. Десять – пятнадцать «лошадиных» вагонов битком набиты народом; темная ночь, тьма крошечная; во всем поезде нет огонька, только цыгарки светятся, а несмотря на то, что уже «за полночь» – весь поезд гудит как муравейник, или, вернее, как паровой котел... И этот говор, перемешанный с звуками гармоний и крепких слов, не замолкает ни в полночь, ни за полночь, ни днем, ни ночью, не истощается в течение долгих дней самого медленного, черепашого движения. Стало быть, народу есть о чем говорить, есть что порассказать друг другу.

А вот у нас, у «чистой публики», как будто дело пошло совсем наоборот, и в вагонах пассажирских поездов, предназначенных для пассажиров первого и второго класса, что-то стало молчаливо, а иногда по целым дням пути царствует поистине мертвая тишина. *Общего* разговора еле хватает на легкие вежливости и столь же легкие невежливости, которыми невольно приходится обмениваться во время суматохи отъезда и приезда, а затем много-много если хватит пороку у двух случайных знакомых потолковать (и то только до первой станции) о каком-нибудь газетном сообщении, только что вычитанном обоими в последнем номере «Нового времени», и потом уж до самой Москвы для них не останется ровно ничего, кроме самого деликатного молчания. Шумного, общего разговора, разговора «целым вагоном», никогда почти не случается. А ведь в прежние времена такие раз-

говоры были неизбежны, и чем далее к началу настоящего двадцатипятилетия, тем шумнее, оживленнее и неистощимее вспоминаются мне эти разговоры. Тогдашние разговоры «чистой публики» были так же жизненны, свободны и многосложны, а главное «общие», как теперь жизненны, шумны, а также общие разговоры публики лошадиных вагонов: у «чистой публики» тогда было так же много нового и жизненного, как много этого нового и жизненного теперь у публики третьего класса. Жизненные вопросы тогда захватывали всех вместе и каждого порознь; каждый и все вообще были заинтересованы в новых порядках, в земстве, в гласности, в новом суде, наконец в личной нравственности. И все это обсуждалось, критиковалось и вообще разбиралось открыто, громогласно, свободно.

Таких-то вот общих разговоров «целым вагоном» и не слышно что-то среди «чистой публики» в настоящее время. И не потому не слышно их, чтобы этих так называемых общих вопросов совсем уж и не существовало, а потому, что вопросы эти как-то перестали подлежать общему вниманию. «Чистая публика» привыкла знать, что из ее свободомысленных упражнений не может произойти никаких существенных результатов, но что в то же время общие вопросы неукоснительно разрабатываются в подлежащих местах и что, следовательно, ей самой тут делать нечего и беспокоиться не следует. Вот почему «чистая публика» первого и второго класса в настоящее время предпочитает тишину и мол-

чание неумолчному в недавнем прошлом дорожному галдению и разглагольствованию. Одни из множества ваших соседей по вагону молчат потому, что искренно сняли с своих плеч бремя каких-то общих беспокойств, другие же (и таких едва ли не больше чем первых), напротив, молчат потому, что вся тяжесть и многосложность общих вопросов, не имея выхода ни в забвении, ни в общественной практике (хотя бы только в виде разговора), сосредоточилась в них «одних» и тяжким комком подкатила «под сердце»...

Иной из этих дорожных ораторов, который в былое время не дал бы вам сомкнуть глаз во всю дорогу от Петербурга до Москвы, и даже за Москву (так много было в нем общительности), в настоящее время, едва появится в вагоне, как уже алчными глазами ищет свободных мест и тотчас же занимает своими вещами целых два дивана: ему нужно, чтоб «никого не было», ему так лучше. Затем он долго и упорно начинает врать пассажирам, ищущим мест, что «места заняты», что «сейчас придет господин»... что «вещи, мол, не мои, а какой-то дамы, которая сейчас придет»... В конце концов он всегда отвоюет себе длинный диван в три места и, нисколько не смущаясь присутствием соседей, которым он только что так нахально врал о занятых местах, тотчас же, едва только тронется поезд, начинает укладывать свои пожитки на сетку, снимает калоши, устраивает в головах подушку и растягивается во всю длину вылганного дивана... Покурив и позевав, он скоро уже чувствует потребность заснуть, хотя бы день

только что начинался, и скоро вы, его сосед, отвоевавший у него себе место единственно при помощи обер-кондуктора, видите, как он, не торопясь (и «как дома»), поворачивает вам свою спину...

Ему никого и ничего не нужно среди всех нас или вас, посторонних людей; ему ровно не о чем с вами разговаривать; даже при сильном напряжении мысли он не мог бы придумать для беседы с вами ничего такого, что бы хоть в слабой степени было интересно для вас обоих. Если иногда, плотно выспавшись и не имея никакой возможности вновь заняться тем же похвальным делом, он попытается завести с вами речь (ему нет дела до вашего желания беседовать; ему просто самому захотелось поговорить, потому что надоело спать), то будьте уверены, что после самых неподходящих вопросов о том, «кто вы?» да «куда едете?», речь эта тотчас же перейдет на самые мелкие подробности жизни этого человека, живущего «сам по себе»; с удивлением вы слышите, что какое-то неведомое вам существо, с полным удовольствием на заспанном лице, повествует вам о том, что картофель у него на хуторе «вот какой», что когда его жена была беременна последним ребенком, так именно в это время акушерка посоветовала ему завести кохинхинских кур, и что сосед Лупцовалов... «Вы знаете ведь Лупцовалова?» Такие неожиданные вопросы со стороны когда-то бывшего оратора, а теперь одеревеневшего обывателя, вовсе не удивительны. Ваш отрицательный ответ относительно Лупцовалова нисколько не удивит

его, ему вовсе не нужно ваше мнение о его бормотанье; ему только бы самому выболтать любезный ему хлам, и когда он его выболтает, то опять начинает зевать и, совершенно забыв о вашем существовании, вновь предьявляет вам свою спину.

Совершенно не такова манера держать себя с дорожными соседями у того типа молчаливого проезжающего, который молчит не оттого, что ему ни до кого и ни до чего нет дела, а, напротив, оттого, что тысячи дел, касающиеся *всех*, сосредоточены и как бы заперты в нем одном. Он не только не занимает сразу шести мест, не врет, что «господин сейчас придет», и т. д., но, напротив, постоянно уступает, теснится и в конце концов оказывается прижатым в угол с вещами, которые не дают ему возможности ни протянуть ног, ни лечь, ни даже сесть поудобнее. Свое стремление к общительности (стремление, воспитанное в нем в те времена, когда он служил мировым посредником) он выражает в необычайной уступчивости к дамам, к детям, расточая тем и другим всевозможные знаки предупредительности. Но при всем том все-таки ни в какие продолжительные и общие разговоры ни с кем он вступать не решается: он знает, что он никому не нужен, что всякий теперь предпочтет мучить своего дорожного соседа подробнейшим повествованием о своих ничтожных семейных или хозяйственных делах, что даже вот эта красивая, изящная дама, красивым «ножкам» которой он уступил последнюю каплю собственно ему принадлежащего места, что она, так мило и бесконечно долго рассказываю-

щая о том, как ее мужа обошли наградой, что она в конце концов также не далека от неожиданного вопроса: «Знаете ли вы господина Лупцовалова?» Все это он уже знает и, делая своим лицом невероятные мимические усилия, которые должны выражать непременно сочувствие пространным речам прекрасной дамы, напрягая свое воображение на то, чтобы те нечленораздельные звуки, которыми ему приходится отвечать на ее милый лепет, чтобы эти междометия «Гм... Хм... Мм...» и т. д. казались бы ей приятным поощрением ее беседы, он в конце концов все-таки предпочтет упорно молчать. Даже и тогда, когда уйдет прекрасная дама и когда окажется возможным совершенно свободно протянуть ноги, все-таки он предпочитает сидеть молча, молча курить или молча читать книгу...

Но не все же молчит и этот мученик единоличной печали «обо всем» и «обо всех»; бывает, что и он, покоряясь настоятельной потребности облегчить беседой свою душу, переполненную тяжестью общих забот, и найдя подходящего собеседника (такого же молчальника, как и он), вступит с ним в оживленный разговор о вопросах действительно общего значения. Но именно потому, что в нем одном так много этих общих забот сосредоточено, речь его хоть и оживлена, и нервна, все-таки она не имеет тени той жизненности, которую изобилует каждое слово собеседников лошадиного вагона. Огромные общие вопросы, которые теснят ему грудь, не оживотворенные в практической, живой действительности

сти, родившиеся в книге, воспитавшиеся в голове и, кажется, умирающие в сердце, – эти большие вопросы трактуются разговорившимся молчальником почти всегда теоретически, отвлеченно; разговор идет, так сказать, о теоретическом остове вопроса, и от этого, хотя – повторяю – и нервно оживленного, разговора не веет жизнью, не ощущается в нем плоти и крови народной речи.

О чем может говорить в настоящее время разговорившийся об общих вопросах молчальник? Можно безошибочно сказать, что он не может говорить ни о чем, кроме – «Болгария», «Лев Толстой» и... (когда уж совсем разговорится) «Мужчины и женщины»... «Женщины виноваты»... «Мужчины виноваты»... «За женщин»... «Против женщин»... Все эти вопросы бесспорно многосложны, но наша жизнь (за исключением значительной доли вопросов «по женской части») их не разрабатывала; не пробовали еще оживотворить их сущность в мелких подробностях обыденной жизни. «Европа» и «мы» – до сих пор ясно не похожи друг на друга только по книжкам и по газетам; здесь (то есть в книжках и газетах) читатель еще может различать эту только чуемую разницу; явления же действительности, напротив, постоянно омрачают эту книжную ясность разницы. «Непротивление злу» ведь тоже пока только в книжках, в журнальных статьях и в мечтаниях... Только вот дела по женской и мужской части как будто бы никак еще не съютались около какой-нибудь ясной теоретической формулы, и потому разго-

вор о них вертится на ничтожных мелочах, преимущественно физиологического оттенка: Еще по «этой части» иногда можно услышать что-нибудь похожее на живое слово, во всяком случае что-нибудь взятое прямо из жизни, но когда разговор пойдет «о Болгарии», «о Европе» и «мы», тогда невозможно обойтись без теоретических фантазий, не имеющих в себе капли живой крови... Так же скелетообразны выходят разговоры и о Толстом, и о непротивлении злу. И хотя все такие разговоры ведутся оживленно и нервно, хотя иной раз, когда, например, загипнотизировавшись частым повторением слова «мы... мы... мы» и «Европа... Европа... Европа», хотя, говорю, и поверишь, что это «мы» уже существует, уже осуществлено во всех подробностях, но простого прикосновения действительности, хотя бы в виде господина, занимающего шесть мест и не моргнув глазом уверяющего, что все места заняты, – такого кусочка действительности вполне достаточно для того, чтобы вполне очнуться от гипнотизма и увидеть, что весь этот оживленный разговор навеян с печатной бумаги, из печатной книжки, а ведь этого, за продолжительностью безрезультатной мозговой практики, весьма достаточно для того, чтобы в конце беседы почувствовать только тяжелую душевную пустоту и какую-то даже озяблость всего тела.

Ввиду всего этого, задумав порассказать в моих заметках кое-что по части, так сказать, «мирского толка», не знаю, осмелился ли бы я к «толкам» в народной среде, о которых

только и следовало бы вести речь, приплетать еще бескров-ные патриотические и общественные мечтания так называе-мой «чистой публики». Витая постоянно между обобщения-ми, то слишком, безмерно отторгнутыми от действительности (как Болгария, Европа и «мы» вообще), то в обобщениях, слишком пристально почерпнутых из действительности (как женская часть), эти разговоры «чистой публики», уже знако-мые ей самой и без особенного пересказа, кажется, успели ей же самой и надоесть... Но не знаю, на счастье мое или на несчастье; судьба во время моих недавних путешествий послала мне собеседника, который как-то сумел обыкновен-ному теперь разговору-скелету придать что-то вроде живой плоти и как будто влил в эту якобы плоть несколько капель живой крови, и вот почему я решился несколько страниц мо-их заметок, посвященных «мирскому толку», уделить темам, занимающим и «чистую публику».

Знакомство мое с Алексеем Семеновичем Пуховиковым произошло совершенно случайно: во время поездки моей по Кубанской области понадобился мне попутчик, и фургон-щик мне разыскал именно господина Пуховикова. Призна-юсь, перспектива ехать с человеком из «чистой публики», то есть в конце концов все-таки разговаривать о Болгарии, Толстом и т. д., – вовсе была для меня непривлекательна: я только что провел двое суток с переселенцами, с народом, и эти люди оставили во мне небывало светлое впечатление. Среди них я забыл самое слово «мужик», потерял возмож-

ность проводить какую-нибудь параллель между мужикам и барином; я видел нечто новое, именно: *независимого* человека. Я желал бы, находясь под этим сильным впечатлением, иметь попутчиком непременно крестьянина, с ним бы я мог делиться моими впечатлениями, и он бы, может быть, еще больше развил их, расширил и осветил. А между тем в фургоне, в котором пришлось ехать, ожидал меня тщедушный, косоглазый барчук в очках, словом – интеллигент, а следовательно, по нынешнему времени и празднослов. Празднослов этот в свою очередь, повидимому, вовсе не обрадовался моему соседству, по крайней мере не выказал необходимой предупредительности попутчику, как это бывает «на первых порах». Он лежал во всю длину фургона, скорчившись как-то боком, и, взглянув на меня косыми глазами, продолжал вытирать замшевым лоскутком снятые очки... Впоследствии к нашему общему удовольствию оказалось, что и господин Пуховиков также предпочел бы соседа-мужика, так как и он ехал по Кубанской области из любопытства, ехал собственно для того, чтобы смотреть, молчать и думать.

Почти молча доехали мы с Алексеем Семеновичем до города Е., и здесь мы должны бы были расстаться, никогда не сблизившись друг с другом, если бы не одно случайное обстоятельство. Приехав в Е., мы остановились в разных гостиницах и стали искать попутчиков отдельно друг от друга; бродя на другой день по приезде в Е. по постоянным дворам, я неожиданно встретил на одном из них Пуховикова в со-

провождении какого-то крестьянина, с которым Пуховиков о чем-то оживленно разговаривал.

– Скажите, пожалуйста, – неожиданно обратился ко мне Пуховиков, – где здесь канцелярия начальника области?.. Вот у него дело... Надо помочь!

И он с живым интересом стал рассказывать дело крестьянина. Это был «иногородний», то есть жертва казацкого притеснения. Он был послан из станицы Беспощадной депутатом жаловаться начальству о притеснениях, которые им, иногородним, делает станичное общество.

– Необходимо написать прошение! – волновался Пуховиков. – Вот у него есть, написано, но ведь так нельзя!

Прощение, которое принес ходатай, было все испещрено непечатными выражениями станичного начальства, и потому его необходимо было переделать. Горячее участие к ходатаю и искренняя готовность заступиться за обиженного сразу расположили меня к Пуховикову.

– Давайте писать прошение! – сказал я. – Пойдемте ко мне в номер.

И мы, все трое, отправились ко мне. Прощение было написано и подано. А мы тем временем успели несколько поближе познакомиться и узнали, что цели наши почти одинаковы.

– Да вы куда теперь? – спросил меня Пуховиков.

– Я в Новороссийск. А вы?

– Да я хотел бы в Майкоп... Впрочем... Поехать разве в

Новороссийск и мне?

– У вас есть дело какое-нибудь?

– Какое дело! Просто так... до осени думаю... Не знаю, впрочем... Впрочем, отлично, поедemте в Новороссийск! Отлично!..

И мы поехали – и в Новороссийск, и в Одессу, и в Константинополь... Смотрели, думали, разговаривали, и разговаривали, увы, опять-таки все о том же, о Болгарии, о Толстом. Кое-что теперь я и *перескажу* из этих разговоров.

II

Выехав из города Е. часа в два дня, мы с Пуховиковым (нас было в целом фургоне только двое) часу в шестом вечера уже подъехали к большой и многолюдной станице, где должны были ночевать. Собственно до ночлега оставалось еще много времени и до заката солнца можно было бы сделать еще верст пятнадцать, но следующий, второй перегон был велик, сорок верст, и фургонщик решил пораньше остановиться, чтобы пораньше, до свету, выехать дальше.

Никак не менее часу, почти шагом, двигался наш фургон по станичным широким улицам, пробираясь к постоялому двору; огромное станичное стадо входило в станицу как раз в то время, когда мы туда въезжали; целый лес разнообразнейших фасонов и размеров коровьих и воловьих рогов окружал наш фургон со всех сторон; бляенье овец, которые сотнями толпились между рогатой скотиной, совались под фургон, под лошадей, рев всей этой скотины, гиканье пастушонков, пронесившихся верхами среди этих полчищ животных, крики и зазыванье женщин – все это сделало наш въезд в станицу не особенно приятным; рев и бляенье скотины оглушили нас; пыль, тучей стоявшая над стадом, не давала возможности хоть мало-мальски видеть что-нибудь по сторонам, а взрытая скотиной и засохшая твердыми глыбами грязь улицы, по которой нам приходилось ехать, потому что стадо по-

стоянно сбивало нас с проторенной колеи, заставляла фургон наш беспрерывно трястись и не ехать, а как-то падать колесами то вперед, то назад, то на один бок, то на другой. Порядочно-таки изломала нам кости эта тряска. Наконец мы, почти уже потерявшие надежду на окончание наших мучений, были приятно обрадованы, когда фургон наш неожиданно свернул с дороги и въехал в отворенные ворота, на которых была прибита доска с надписью: «*Постоялый двор с номирами*».

Сразу почувствовали мы себя в тишине и просторе. Широкий, просторный двор, окруженный со всех сторон постройками, как-то вдруг и как будто на огромное расстояние отделил нас от уличного хаоса. Нет уже ни тряски, ни пыли, воздух свежий и чистый, и раздиравший душу рев скотов неожиданно принял не раздирающий уже, а музыкальный оттенок; не то, казалось, где-то солдаты идут с песнями, не то какие-то басы и баритоны провозглашают кому-то многолетие, а может статься, и песни играет какая-нибудь подгулявшая компания. Телячьи басы и баритоны особенно способствовали этой музыкальной иллюзии.

– Однако надо хозяина! – проговорил Пуховиков, после того как мы, выбравшись из фургона, немного поразмяли кости, походив по двору. – Друг любезный! – сказал он, подходя к фургонщику, – как бы хозяина позвать? Чайку надо...

– Сейчас, сейчас! – торопливо стягивая с лошадиных спин вожжи и свертывая их, отвечал фургонщик. – Сию минуту.

Да вот! Эй, молодлица! Позови-ка хозяина!

Молодка, к которой отнесся фургонщик, дюжая, истинно богатырски сложенная молодая «девка», появившаяся из небольшого флигелька на середине двора, не обратила на слова фургонщика никакого внимания; она как-то «срыву» выплеснула из шайки какие-то кухонные остатки и скрылась, почти бросив у дверей флигелька эту уже пустую шайку. И появление и исчезновение ее было так кратко, что, кроме ее богатырского сложения, мы могли заметить в ней только крайнюю небрежность костюма: голова ее была простоволоса, ситцевый платок кое-как завязан на шее, а могучее тело также кой-как было облечено в жиденькое ситцевое платье все в пятнах и в сале.

– Ишь какая сердитая! – добродушно проговорил фургонщик, основывая свое мнение на невнимании девицы-богатыря к его просьбе.

Скоро и нам с Пуховиковым пришлось убедиться, что девица-богатырь точно как будто сердита. «Шваркнув» шайку, она тотчас же опять появилась на крыльце флигелька с большим нечищенным самоваром в руках; махнув как пером этим огромным самоваром, она сразу выбросила из него и воду, и уголь, и золу, и тоже «срыву грохнула» его о крыльцо, «срыву» опрокинула в него воду, нахлобучила крышку, набила угольями и так могуче дунула в трубу, что яркие искры с треском разлетелись по всему крыльцу.

– Нельзя ли, любезная, хозяина нам... – еще раз попытал-

ся вымолвить фургонщик.

– Нешто я караульщик твоему хозяину? Пес его знает, где он! – уже с явным негодованием не ответила, а прямо гаркнула ему богатырь-девица.

Нельзя было не убедиться, что она точно сердита, что она, как говорят, «и рвет и мечет». Во всех своих действиях и движениях, резких и необычайно быстрых, она повиновалась, очевидно, бушевавшей в ней буре, и даже ее ситцевая юбка во время ее сердитой беготни билась и хлестала по ее голым ногам и по притолокам дверей точно так же, как треплется и хлещет во время настоящей бури парус на корабле.

– Сейчас, сейчас, господа, иду!.. – послышался около нас какой-то дребезжащий голос, и мы, наконец, увидели хозяйина.

Это был человек выше среднего роста, широкой кости, лет под шестьдесят; но не старческое, а что-то раскислое, преждевременно дряблое было в его лице и фигуре, слегка потупленной, сгорбленной, но не старостью, а каким-то бессильным равнодушием. Нечесанные, но еще густые рыжие с проседью волосы неряшливо падали на низкий лоб с кисло-жалобными глазами; неряшливое, старое, все в пятнах и без пуговиц, когда-то, вероятно, «летнее» пальто было кое-как подпоясано в талии веревкой; какие-то ситцевые, грязные, широкие шаровары розового цвета были коротки и обнаруживали босые ноги, обутые в резиновые галоши. Что-то кислое и утомленное лежало на всей его фигуре; явным упад-

ком сил, энергии повеяло на нас от этого человека, называющего себя «хозяином», и мы тотчас же как-то вдруг заметили те же следы упадка и в его хозяйстве. Сердитая, грубая, неряшливая работница также, как нам показалось, дополняла впечатление расстройств, таящегося в жизни этого двора. И мы не ошиблись.

– Сию минуту все будет!.. И комнатку вам также? – дребезжащим голосом спрашивал нас хозяин.

– Да, и комнатку бы, ночевать будем.

– Ну сейчас, сей минут!.. Марья! Самоварчик, живей!

Богатырь-девица, появившаяся на крыльце едва ли только не для того, чтобы с сердцем, хлестнуть подолом о притолоку и уйти, не удостоила его ответом.

– О, да у ней уж поставлен самовар-то... Еще чего не потребуется?.. Да! Свечку вам... Коматку... Пожалуйте сюда вот.

Шлепая резиновыми галошами, он, сторбившись, повел нас в один из трех флигелей, выстроенных на дворе. Флигель был низенький, темный; в двух маленьких комнатках стояло по кровати с гнилыми досками, несколько изломанных стульев, стол, который задрезжал уж, едва только мы ступили на пол.

– Огонька бы надо! – сказал наш фургонщик.

– Свечку? сию минуту... всё... Сейчас... Марья! – крикнул он в открытую дверь, – давай свечку.

Но так как никакого ответа от Марьи не последовало, то

хозяин сам отправился за нею. Не очень скоро вновь появился он с длинным позеленевшим медным подсвечником и сам принялся вставлять в него длинную сальную свечку.

– Все неуправка! – как-то жалобно бормотал он, переламывая эту свечку обеими руками и кстати сгибая медный неуклюжий подсвечник на сторону... – Ишь как согнуло его! Главное, народ избаловался... не найдешь людей! Вот должен сам, например, всякую малость...

Кой-как свечка была, наконец, укреплена в неуклюжем подсвечнике, и на столе появилась разнокалиберная чайная посуда.

– Ну вот! Ничего! сейчас и самовар!.. Марья! – опять крикнул хозяин, высунувшись в окно, но на этот раз богатырский толчок Марьиной ноги распахнул дверь точно порывом бури, ударив ею об стену, и сама Марья без всякого зова, так же как ураган, внеслась с самоваром в комнату. Самовар неистовствовал ужасно, да и сама Марья бушевала внутренно не меньше самовара; ее могучая грудь ходила ходуном; она ткнула клокочущее чудовище на крошечный столик, причем чудовище кипящим паром сразу ударило в зеркало, в картину и точно окунуло их в воду; в то же время чудовище упорно задувало свечку и отталкивало хозяина, который хотел к нему подступиться. Бурное появление взбешенной Марьи заставило хозяина сказать ей:

– Кажется, можно потише? поаккуратней? чего уж так-то? Сказал он это каким-то приниженным, дряблым, но, как

нам показалось, исполненным глубокой ненависти голосом.

– Давай ключи-то от амбара! – опять «гаркнула» Марья. – Тебя, старого чорта, век не переслушаешь...

И, не дожидаясь ответа, исчезла.

– Нонче вон как храпят на хозяев-то! – кисло и жалобно пожаловался нам хозяин и, обратясь почему-то к фургонщику, прибавил: – Она вот этак-то храпеть на тебя будет, а ты, между прочим, пальцем ее не смеешь тронуть! Вот какие порядки!..

– Да, уж нониче вольно... Да чего это она так рычит?

– Так, поучил... маленько... Рабенок, например, вывалился из люльки, благим матом орет, а она расселась за воротами, с солдатами подсолнухи жрет...

– Твой ребенок-то?

Хозяин как-то потупился, вздохнул и с кислой улыбкой сказал:

– А уж не знаю... должно, мой!.. надо быть, так!..

– А она-то, что ж, стало быть, в няньках у тебя?

Хозяин еще раз вздохнул и, слегка махнув рукою, проговорил:

– Она у меня все в одном числе: и вроде жены, например, и в работницах, и в няньках.

– Так и ребенок-то, стало быть, от нее?..

– От нее, от идола! пропади она!..

– А настоящая-то хозяйка твоя, значит, померши, что ли?

– Настоящая моя хозяйка?..

Он опять махнул рукой.

– Об этом, брат, долго разговаривать!..

Хозяин помолчал и проговорил, крепко вздохнув:

– Кабы настоящая хозяйка была, так я бы нешто присо-единился к этому идолу? Ведь что она? дерево! Взять поле-но, ошарашить по шее, и весь разговор... Только одним бо-ем и живет. Чего ей рабенок? Нонича бабам воля. «Не хочу с мужем жить!» – взяла и ушла, только и всего! А рабенок ей нипочем, сколько угодно... Кабы жена-то была, так не дер-жал бы этакого истукана... Ведь она меня кулаком пополам перешибет – ведь чорт!.. Неволя, братец ты мой, загнала!.. Заскучал! Принужден был наемным порядком обломать ис-тукана... А кабы жена-то!..

– Да что ж такое с твоей женой приключилось?

– Ушла от меня! вот что приключилось... с «агентом» ушла. Вот, видишь, флигель на дворе? Ну вот там у меня агент жил, снимал квартиру по контракту за двести за трид-цать в год, на пять лет... Ну вот и уволок... У меня сыновья по восемнадцатому году есть! И детей увела! и всего дочиста обобрала! до нитки! оставила вот в чем есть... Вот как со мной супруга распорядилась умно!

– Да-а!.. Так вот какое дело!..

– Почитай двадцать лет прожили – и вот как!..

– Да, брат!.. – вполне сочувственно качая головою, сказал фургонщик.

– Как так могло случиться? – оживленно спросил хозяина

Пуховиков, кое-как расположившись на голых досках кровати.

– Это ежели вам все как должно рассказать, сколько я, например, принял муки...

– Так расскажите, пожалуйста! – умоляюще воскликнул мой попутчик. – Пожалуйста!

– Ежели это рассказать все подробно.

Хозяин махнул рукой и вздохнул. Но, как будто что-то вспомнив, поспешно проговорил:

– Вот погодите, я сейчас в амбар сбегаю, а тогда опять загляну...

– Пожалуйста!.. – вопил Пуховиков вслед уходившему хозяину.

– Ладно! ладно! – отвечал тот.

III

– Так вот оно какое дело-то! – многозначительно прикусывая язык и покачивая головой, заговорил наш Фургонщик по удалении хозяина. – То-то я смотрю, что как будто не такие порядки пошли... Я уж давно не бывал у него... Это сегодня как-то вздумалось, а то я другом месте останавливаюсь... Так вот оно как!

И покачивая головой, фургонщик с многозначительной миной в лице припал губами к полному блюдечку чая.

– Да! Видно, что его это потрясло!.. – сочувственно сказал Пуховиков. – Что ж он нейдет?

– Придет! – успокаивал фургонщик. – Тут ему нечего делать-то... Вы чего же чаю-то не пьете? – обратился он к Пуховикову.

– Я хочу есть! – ответил Пуховиков. – Пойду искать чего-нибудь...

Мы с фургонщиком остались вдвоем, поджидая возвращения хозяина и Пуховикова. В ожидании их мы молча пили чай, и фургонщик успел опустошить весьма значительное количество чашек, прежде нежели явился Пуховиков с целой тарелкой яиц в руках.

– Нет, – сказал он, в раздумье останавливаясь среди комнаты, – наш хозяин что-то... смиренный, смиренный, а подите-ко, как «идола»-то своего мучает!.. Я вот сейчас искал

его, нет что-то нигде; вошел во флигель, а там люлька висит и эта Марья ребенка качает... Ну действительно качает так, что не дай бог! ребенок катается в люльке, как вот каталось бы яйцо... только кряхтит... то есть, собственно говоря, не качает она, а пихает *его* с сердцем от себя и к себе, с ожесточением дергает. «Нельзя ли, матушка, яичек мне?..» Сначала покосилась молча, посмотрела на меня, потом говорит: «Вон, возьми под лавкой!» И вижу я – все ее лицо мокрое от слез... «Ты что ж, говорю, о чем плачешь?» – «Как же не плакать, с таким чортом живешь!..» – «Так ты бы ушла?» – «Да паспорту не дает... Должна, вишь, ему я... рабенок родился, расход ему... А чей рабенок? Не драться с ним, с подлецом... И рабенок-то мой хуже врага!.. хоть бы помер, что ли, давно б моего духу не было!» И ревет, ревет, залива-ется! Покуда я яйца из корзинки вытаскивал, досталось нашему хозяину на орехи... Вот, в самом деле, какие бывают нелепые связи!

Пуховиков положил несколько яиц в стакан, облил их из самовара кипятком и вновь расположился на кровати.

– Знаете что? – сказал он оживленно, – пусть только придет хозяин, надобно вывести его на свежую воду... Должно быть, он тиран! Какую могучую девку и как запутал... А ведь по виду кроток...

– Вот погоди, все выпросим! – поддакнул извозчик.

И только что был составлен между Пуховиковым и фургонщиком этот, так сказать, заговор против хозяина, как на

крыльце послышалось шлепанье резиновых калош, и скоро в комнате появился подсудимый; в одной руке держал он пузатенький графин с водкой и рюмку, торчавшую между пальцев, в другой у него была связка шамаек и под локтем прижат кусок хлеба.

– Вот, господа, с дорожки позвольте попотчевать... Рыбки? своего вяленья, извольте-кося покушать!

Рыбку и хлеб он как-то искусно, при помощи одной руки, сумел опустить на стол, а сам остался посреди комнаты с графином в одной руке и рюмкой в другой.

– Позвольте вас просить! – сказал он, поднося рюмочку водки сначала Пуховикову, потом мне.

Мы сказали: «После, теперь рано!» Не отказался только фургонщик.

– Что ж это так? – обиженно говорил хозяин, – неужто уж мне за всю компанию одному придется претерпеть?

– Пей сам-то! – сказал фургонщик.

– Ну, видно, надо! Будьте же здоровы! С приездом!

Хозяин медленно выпил одну рюмку за другой и, не выпуская ни графина, ни рюмки из рук, сел в старое безногое кресло, кое-как державшееся у стены. Поза его была такая: откинувшись к спинке кресла и наклонив голову к груди, он сидел как бы в задумчивости, расставив ноги, и на одном колене держал графин, а на другом рюмку...

– Да! вот как, господа любезные, бывает на свете!

Сказав это, он налил еще рюмку водки, выпил, крикнул,

плюнул и опять поставил руки с графином и рюмкою в то же положение.

– За твои труды, за твои, например, старания, за всякое попечение возьмут тебя же и огреют поленом по голове! Что же, хорошо этак поступать?

Вопросительно взглянув на нас и, повидимому, не желая ждать ответа, он опять выпил рюмку и все с теми же приемами.

– А почему? – продолжал он, вопросительно взмахивая головой. – А пото-м-му, что нету строжайшего закона! Вот почему! По теперешним временам дозволяется бабам своевольствовать... Поди-ко, тронь ее пальцем! Что тебе скажет судья? «Да, виновен. Посадить его в часть». А посмотри-кось, что он окажет, ежели ты на бабу жалуешься? «Нет, не виновна, ступай с богом!» Вот нынешние права! Она тебя ограбит с любовником, обворует, разорит, осрамит, а ты – пикнуть не смей! Голову она тебе с плеч снесет – «нет, не виновна, иди гуляй!» (Следует поспешная выпивка двух рюмок сразу.) От этого-то и происходит вавилонское столпотворение!.. Теперича спрашивается: какая же мне награда, что я ее берег, например, уважал, поил, кормил, в наряды ее наряжал?.. Каждая копейка у меня кровью досталась! Вот все, что тут понастроено, каждая соломинка, все это от трудов! Чего только не пережито на веку! и все старался, чтобы как лучше, чтобы по-хорошему... Чего ей нехватало? Всего, что потребуется, было! И вещи, и золото, и серебро, и зем-

чуг – все было!.. Или не уважал я? Оченно даже почитал и ходил за ней как за кротким младенцем: кажется, всю жизнь волоска не тронул (быстрая выпивка). И вот оказывается с агентом! Обобрала, как липку! Осрамила, разорила; всё выбрали с подлецом из сундуков: и вещи, и билеты, вв-сс-сё!.. Вот какую награду заслужил я за мои труды! А уж, кажется, как малого младенца берег: «Наденька, Наденька, ангел мой! не надобно ли чего? не чувствуешь ли ты какого беспокойствия? может быть, тебе какого варенья или что тебе требуется – ты только мне скажи!» Только, бывало, и слов моих. И вдруг – с прохвостом! Предалась со всеми детьми, оставила меня посереде пустыни!..

Следует выпивка еще двух рюмок, и рассказчик видимо хмелеет.

– Вот награда!

Всем стало как-то очень нескладно на душе и в то же время очень грустно от этого рассказа. Все мы как-то разом вздохнули, и глубже всех вздохнул охмелевший хозяин.

– А какой была ангел! – вдруг нежнейшим голосом почти прошептал он, очевидно впадая в совершенно иной тон и от негодования переходя в мечтательное настроение. – Вспомнишь, вспомнишь! Ну да что уж!.. Провались она пропадом!..

Среди общего молчания послышался резкий звук глотка. Хозяин пил и сидел глубоко удрученный.

– Послушайте, хозяин! – проговорил Пуховиков. – Изви-

ните, вас как по имени, отчеству-то?

– Нас? Иван Семенов.

– Иван Семенович! Знаете что? Расскажите по совести, как было дело...

Хозяин поднял голову, слушал и не отвечал.

– Ведь все равно, – продолжал Пуховиков заискивающим тоном, – дело прошлое, чего скрывать?..

Продолжая молчать, хозяин стал внимательнее вслушиваться в слова Пуховикова, даже наклонился вперед, чтобы яснее слышать их.

– Вы сами говорите: «ангел была»... и вдруг ограбила!.. ведь это зря не бывает... Как законов нет? За копейку в остроге сидят... Нет, вы уж, пожалуйста, все по совести.

Долго и упорно молчал хозяин и, очевидно, крепко о чем-то думал... Все мы ждали, что будет.

Вдруг он вздохнул глубоко-глубоко, выпрямился на стуле, потом быстро поднялся во весь рост и громко произнес:

– По совести? По чистой совести вам?

– Да-да! Пожалуйста!.. – подзадоривал Пуховиков.

– Все по совести?..

Пуховиков опять поддакивал, а хозяин, приготовляясь ответить что-то, но, видимо, затрудняясь ответом, в волнении колотил себя бутылкой в грудь.

– По совести? – громко воскликнул он и столь же громко прибавил: – А потому что... сволочь!

– Кто? – подсунул ему Пуховиков.

– Я! Я сволочь! – грянул хозяин и так ударил бутылкой в грудь, что из нее выплеснуло струю водки.

– Я! Я!.. – кричал он. – Вот кто есть основатель всей подлости!

И в сильном волнении (не разлучаясь, однако, ни с графином, ни с рюмкой), охмелевший хозяин почти упал в свое кресло.

– По совести вам? так вот как: у нее была спервоначалу душа чистая, а у меня душа была грязней грязи! Я собственно потому и вовлек ее в брак, что душа-то моя почернела, так мне требовалось около чистого, приютиться... Вот я и выдернул ее из грядки за хохол, как редьку!.. Да к себе в берлогу! А она не мне чета была! Не по себе я брал товар!.. Я к грязи с детских ден приучен! Чай, знаете Валдай-город? Ну так у моих родителей три трактира там было с органами... И грязи, и греха – не приведи бог, сколько было!.. А она, Надежда-то, дьяконская дочь, смиренная, тихая, умная, обученная, сама чистота небесная! Все у нее, бывало, что-то светит в глазах-то! Ей-ей не совру, скажу вам: сидит, бывало, читает книжку, а надо лбом у нее (вот это самое место) точно что летает... ей-богу, не вру! Привлекала меня вполне... Ну я с дьяконом и так, и эдак... сладили! Живем по-супружески, а вижу не то!.. Кажется, уж по женской части понимал? А не то! У, как строго надо!.. Тут надо не то, что поступать чисто, а и думать-то чисто надо... вот тогда будет прок! А о чем мне думать? Приобык я к грубости, к своевольству... Стал я

пред женой представляться вроде серьезного человека... И верила ведь!.. Тянет меня учиться, а я уж всему научен!.. Завлекла меня к помещику (еще в девицах она у них живала), школу смотреть, с учителями разговаривать... Прямо сказать, добрые были люди, настоящие... Истинно добро хотели творить. Вот и ее туда тянет к ним. А мне с ними смерть! Меня тянет в кухню, к бабам, взять балалайку да с Матрешкой сдействовать ухарскую! Ведь кто к этому приобьик, так ведь с бабами, девками гулять – ух, как вихорно-хорошо! Понемножку, полегоньку, то каблучками, то ладошками, так тебя начнут потрогивать, подергивать, поворачивать – и не опомнишься, как словно в облаках без памяти плаваешь... И-и-их, бывало, как в рощах мы гуливали!.. Терпишь, терпишь дома, да как дашь себе бенефис...

– Зачем же бенефис-то? – с упреком заметил Пуховиков.

– Да ведь хорошо! дюже хорошо этак-то колесом под облаками-то шарахнуть! Ах, братец ты мой!..

– Да, точно, – проговорил Пуховиков, – кажется, действительно не по вас она!

– Нет, братец ты мой, не так! Мне без нее тоже невозможно... У меня так: от вольной жизни тянет к ней, а от нее к чорту в зубы призывает... Вот ты что разбери!.. Я бы и с ней соскучился... и с моими актерками стосковался, вот какая моя природа! Оно бы и ничего, все бы честь честью шло, только вот в ней-то своя загвоздка сидела. Тянет ее к учению да ко всему хорошему! Книжка ей требуется, так ее и

подмывает к этим самым господам пойти, так у нее на лбу-то и летает этот дух-то благородный! Я бы сам-то как-никак преборол себя, это мы можем; иной раз четверть водки осадить, придешь к родителю, а рыло точно у схимника, чист и свят! Да она-то вот все в сторону, все своей дорогой... Думаю, определить ее к трактирному делу, посадить за выручку? Потому родитель к тому времени помер и дело в моих руках было. Огрязняет! а мне нужна чистая!.. Ну пока что жил, терпел – «пусти да пусти к господам!» Раз не позволю, два не позволю, в третий – нечего делать, пойдем вместе. Она ускользнет к молодым барчукам, барышням и к прочим студентам, а меня только вот икота колотит... И стал замечать, что склоняется она к одному, например, человечку... «Ах, говорит, какой превосходный Митрофан Иванович!.. Какой умный!..» А парень, точно, умственный, головастая тварь, нечего сказать... Воротит от этих слов все нутро во мне, а чем ее отшибить? не придумаю, способов нет! По наукам ничего не соображаю, разговора не понимаю ихнего, а вижу, что тянет, тянет ее туда, вижу, что там ей место настоящее... Что тут делать? Представилось мне так, что беспрерывно она от меня «уйдет!» И ушла бы, и беспрерывно бы ушла – это верно! (Ведь ушла же таки!) Да бог мне в эту пору помог... Наткнулся я в нашем трактире на двух наших же мужиков. Сидят, чай пьют, спрашивают. «Жив ли такой-то? А такой-то где? А этот-то помер или нет?» Да вы-то, мол, кто такие сами-то будете? Ну, слово за слово,

рассказали они все. Убежали они вдвоем из наших мест лет пятнадцать тому назад и попали в Турцию; и теперь вроде турецких подданных и с турецкими паспортами опять въехали в Россию, приписались на Кавказе и живут припеваючи... Наговорили они мне про этот самый Кавказ неведомо чего: и места много, и всего много, и вольно, и богато... рай! Забрало меня за живое! Думаю: «Затащу я свою Надежду в неприступные места, сохраню ее от прочих народов для себя, и никакой чорт нас не разыщет!..» А у меня характер горячий. Влетело это мне в башку, даром не лежало. Обтолковал я это дело с земляками, расспросил, распродал имущество, маменьке оставил часть, урезонил ее под тем предлогом, что, мол, еду в Москву торговлей заниматься, да и юркнул сюда в степь и жену уволок с собой, оторвал ее от своих мест.

Рассказчик подкрепил себя рюмочкой.

– И стали мы, братцы мои, жить с ней наново... Шибко она убивалась по своим местам!.. Ну, однакож, хлопот было много, и, наконец, дети оказались, один за другим, два мальчика... Так мы жили долго... У меня заботы много хозяйской, у нее одна забота – дети. Вся им предалась, вся, значит, затихла, присмирела... Куда тебе книжки!.. И жили мы перво-наперво вот в этом самом месте, где теперь разговоры разговариваем; а потом флигель отделали новый, а со временем и жильцов стали пускать... Поживши таким родом, соскучился я об своей стороне, задумал поглядеть, как живут земляки. Деньжонки, слава тебе господи, были, я думаю:

«поеду в свои места, разузнаю, душу отведу»; здесь хоть и хорошо, а все свои места милее. И опять же задумал и сейчас за дело взялся... Флигель новый сдал агенту, этому самому мошеннику-то, на пять лет по двести по тридцать рублей, хозяйство передал жене – и с богом. Чтобы у меня об ней мысль какая вредная была – ни боже мой! Хозяйство и ребята так ее прекратили, даже и подобия не осталось, стала стареть моя бабенка. А мне за ней, как за каменной стеной, спокойно... Поехал. Дороги железной в ту пору не было до самого Воронежа. Езда долгая. Ну кое-как добрался до дому, разыскал своих, да без малого полтора годика и прогулял в родных-то местах! Любо, братцы мои, показалось мне в своих местах! Дома у меня заботы нет: жена отписывает и все хорошо; чего ж мне? И так я преприятно погулял – век не забуду! Даже... уж что греха таить? говорю вам как на духу... прихватил из своих мест себе обновочку... сманил я ее, думаю: «Воткну ее где-нибудь в хибарке, у старой вдовы, казачки, пускай живет, – все мне будет отдохновение...» Ну, приехал, обновку свою приладил в непроходимых местах, стал жить, н-но замечаю, что в моей бабе опять старое стало открываться, опять мысли появились... Слышу: «Дети уж большие растут, учить надо... Альфонс Федорович беспрерменно, говорит, учить надо... Как так, мои дети мужиками будут, невежами?..» Извольте видеть! Заиграла в ней старая струна, только уж в детях... И опять Альфонс Федорович какой-то появился... А это агент-то, анафема! немец!

Сидит, собака, циркуль возьмет, круг обведет, линейкой подчеркнет – шут его знает, чего он там делает, а она только ахает: «Вот кабы моим детям так-то!..» И стало так: то немец к нам, то она к немцу с мальчишками... И идет промежду них опять же такой разговор совсем не по моей природе – потому что понятия у меня нет... Дальше – больше, слышу, люди говорят: «Поглядывай, мол, Семеныч, – у твоей жены с немцем не очень аккуратно происходит!» Кухарка тоже не вытерпела, объяснила: «Она, говорит, без тебя бесперечь у немца... и он у ей... в полночь... за полночь». Побожилась, что немец в окно лазил... Ах, пропади пропадом! Рвет меня опять на части, что ты будешь делать! Хоть и есть у меня на стороне, а без такой бабы, как жена, нету мне житья!.. Раз эдак был выпивши (нахлестался у своей...), пришел домой; Надежды нету. «Где?» – «У немца». – «Сходи, призови». Пошла кухарка: «Сейчас!» Прошло два часа – нету. «Сходи!» – «Сейчас!» Опять нет! Пошел сам, вытребовал, думаю: «Погоди же, я с тобой сыграю штучку!» Принял на себя довольно кроткий вид и говорю: «Ты мне, Надежда, говори все по совести и не бойся. Какие у тебя дела с немцем завелись?» Удостоверил ее всячески, чтобы нисколько нечего от меня не опасалась. Тут она вся загорелась от радости – и поверила... «Я, говорит, без него жить не могу... Он моим детям лучше тебя отец... От него в час услышишь то, что век не узнаешь с тобой живши... Отпусти ты меня, друг ты мой, к нему с детьми совсем! Я ведь твою подлость давно знаю,

все терпела... Я из жалости к родителю за тебя пошла. Ты и теперь, говорит, любовницу держишь, какой детям ты пример! А Альфонс-то Федорович – он из них людей сделает... Он, говорит, так их любит, так заботится, что за это за одно я ножки у него целовать буду...» Говорит это, плачет, меня обнимает, а у меня все нутро горит, огнем полыхает! Однакож продолжаю доходить до корня. «Хорошо, говорю, отпущу!.. А чем вы жить будете?» – «А ты, говорит, нам все мое отдай!..» И на это я ей также по вкусу ответил: «Хорошо, говорю, показывай же, какие бы ты вещи взяла и какие мне оставила?» И сейчас она в одну минуту сундуки распахнула, разворочала и, точно в самом деле уходить ей пора от меня, со всяким спехом принялась разбирать... Вот на этой самой кровати, что вы изволите лежать (он кивнул Пуховикову), принялась она раскладывать имущество: «Это твое, а это вот мое... Это тебе оставляю...» Венчальные свечи мне оставила... Перебрала все, в сундуках, в чуланах, горит вся от радости! «Ну, говорю, теперь ты свое сложи в особое место, а мое в особое». Все – живым манером! «А когда, говорю, уходить хочешь?..» – «А сейчас, говорит, у Альфонса Федоровича спрошу...» Тут я встал (рассказчик встал я, поставив на стол графин и рюмку, с каким-то разбойничьим, даже палаческим жестом засучил рукава и сжал огромный кулак...), встал я, засучил, поплевал эдаким манерам – да ррраз по морде! да два! да трри... да до тех пор, пока кровь из нее, как из зарезанной, хлынула! Тут на крик прибежал

немец, соседи – и боже мой, какой вышел скандал!..

Рассказчик опять овладел графином и рюмкой и освежил себя двумя огромными рюмками.

– Немца выгнал вон, а жена лежит, молчит, умирает... Никогда я так не плакал, как над ней!.. Уж господи! только бы жива была! Все хозяйство бросил, запустил... Дал обет пешком сходить в Новый Афон, ежели выздоровеет. Прележала она в постели без малого год... кое-как отходили. Молчит, ни словечком не вспоминает (а в себе все затаила!..). Я уж и не знаю, как мне самому-то позабыть мои грехи... Вытребовал из дому родителей ейных, отца и мать, покаялся, молебен отслужили и ее уговорили все позабыть, и в ноги она мне поклонилась... Как поклонилась она мне в ноги, тут и я отдох, думаю: «Ну все слава богу!» И пешком ушел богу молиться на Афон. Родителей ейных отправил, отблагодарил, все как должно. Возвращаюсь домой – проходил я шесть недель – хватъ, и след простыл! Ни жены моей нет, ни детей моих нет, ни сундуков, ни меху! Ничего! чисто! бросила все на старуху работницу – оставила меня без всего! Вот и конец делу!..

Рассказчик замолчал и поник головой.

– Так вы ее и не видали?

– И видал! и детей своих воровал! и сюда привозил! и сейчас у меня судом дело идет – и все ничего! дети уйдут... сама пьет!

– Стала пить?.

– Пьют!.. Потому немец-то преобразил ее не то что в любовницы, а хуже кухарки она у него теперь... Он как завладел имуществом-то, сейчас его в деньги оборотил, какую-то контору комиссионерскую открыл, а ребят моих агентами пушает. Одним словом, запряг очень хорошо всех... Все это он покорил, а жена-то уж ему и не нужна... Сказывают, невесту ищет... Так все пошло прахом! А моя-то все в черном теле... Попивать стала, а нейдет: «Все при детях помру...» Любит его, подлеца! Что подделаешь? Умен, вишь, мошенник!.. Вот тут и разбирайте!

С глубоким вздохом рассказчик посмотрел на графин, но графин был пуст.

– Вот теперь и доживаю век кое-как с Машкой, идиолом! Ругаемся с ней как собаки, а живем!

– Зачем же ругаться-то? – заметил Пуховиков.

– Да когда во мне все нутро ругается?..

– А как она не стерпит да уйдет?

– Не уйдет! Ее, как собаку на цепи, рабенок держит...

Хозяин поднялся с кресла и нравоучительным тоном сказал нам:

– Эх, господа, господа!.. Человек-то ведь, мужик ли, баба ли, все одно, мало ли чего хочет, да не выходит по желанию-то!.. И ушла бы Машка, да рабенок! И прогнал бы я ее сам, да холодно мне будет! Я вон желал мою Надьку получить и получил, а что случилось? И она своего немца получила, тоже проку мало... А ведь по желанию!.. А вот в дураки

попасть, этого я не желал, да и Надька в пьяницы не стремилась... А между прочим, извольте видеть, что оказалось!.. Эх, матушки вы мои! Человеку-то всего хочется, да не выходит! А я говорю: нужно утвердить закон, чтобы ни боже мой!.. Живи по форме, вот! И будет порядок... А нынче что? Вот теперича Машка непременно дверь приперла изнутри! Уж это будьте покойны!.. Ночуй, мол, пес, под забором... Ну, этого позволить я не могу!..

Хозяин взялся за графин, но еще раз убедившись, что он совершенно пуст, с сожалением проговорил:

– Аль пойти нацедить? Я ее разбужу! у меня тут припасено поленцо... Небось очнется!

– Нет, – сказал Пуховиков, – пора спать!.. Поздно!

– О?.. А то по рюмочке?

– Нет уж, Иван Семеныч, будет! – проговорил фургонщик и, помолвившись на образ, собрался уходить...

– Ну, ин не надо! Ну, стало быть, спите!..

Хозяин ушел, простившись с нами и захватив с собою пустой графин и рюмку...

IV

Затхлый воздух флигеля и неудобные нечистые кровати, с голыми нечистыми досками, навели нас на мысль ночевать в фургоне. Фургонщик сам вызвался уступить нам свое место и уверил нас, что он найдет, где выспаться.

Скоро мы улеглись; ночь была чудесная, светлая, теплая, воздух свежий, напоенный опьяняющим запахом сена; улеглись мы удобно, уютно и, вероятно, крепко бы заснули, но в самом начале сладостной дремоты нас разбудил хозяин. Он ходил по двору и ругался, негромко, но достаточно слышно: «Погоди, анафема!.. заперлась!.. Погоди!» И вслед за тем раздался громкий стук, вероятно, поленом или камнем в дверь флигеля. Ответа, очевидно, не последовало, потому что опять хозяин ходил куда-то, конечно, не переставая ругаться, и спустя некоторое время принялся стучать кольцом двери... Не меньше часа с промежутками то потихоньку, то «во всю мочь» гремел он кольцом и все-таки ничего не добился...

И в третий раз пошел он по двору. Но на этот раз он воротился с большою охапкою сена и с неизменной угрозой – «погоди!» улегся на крыльце флигеля, подостлав сено и укрывшись армяком.

Вся эта возня помешала нам заснуть, и, побранив беспокойного хозяина, мы стали сначала курить, а потом и разго-

варивать...

– Да, да! – задумчиво сказал Пуховиков, – «всем надо всего, и ничего не выходит!» Это правду сказал хозяин. Я, знаете, даже хотел написать об этом сказку... Теперь ведь сказки в моде: вопросы большие и неясные, а для этого нет более удобной литературной формы, как сказка. Вот мне и вздумалось... Я ведь пробовал пописать, да все что-то не выходит...

– Ну и что же со сказкой?

– Да по обыкновению ничего не вышло... Хотите я вам расскажу в общих чертах?

– Пожалуйста!

– Ну так слушайте!

Примечания

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, XI. Сохранилось начало ранней, более краткой, редакции и полная наборная рукопись, от которой журнальный текст отличается, в основном, небольшими сокращениями и исправлениями стилистического характера. При перепечатке рассказа в Сочинениях Успенский не внес в него почти никаких изменений и только передвинул его с пятого места в цикле на десятое.

Основная тема рассказа посвящена семье, взаимоотношениям между мужем и женой, положению, правам и обязанностям женщины. Эта тема очень занимала в те годы Успенского – в настоящем томе см. рассказ «Не быль, да и не сказка» и «Заметка» из цикла «Кой про что», а также рассказ «Ноль – целых!» из цикла «Живые цифры».

В первой главе писатель рассказывает об оживлении за последние годы народной мысли и о повсеместных шумных и содержательных «разговорах в дороге» среди народа, в «третьем классе». Успенский противопоставляет им молчаливость «первого и второго классов», русской интеллигенции, ее общественный индифферентизм под угнетающим воздействием правительственной реакции середины 80-х годов и обусловленную этим эволюцию народнической интеллигенции в сторону либерализма; Успенский вспоми-

нает при этом живые и полные глубокого общественного значения «разговоры в дороге» в шестидесятые годы. На эту тему Успенский пишет также не раз в своих очерках и рассказах 1884–1887 годов – в настоящем томе см., например, начало очерка «Пока что».

Рассказ основан на воспоминаниях о путевых впечатлениях, полученных Успенским во время его поездки на юг в мае – июле 1886 года (см. первые четыре главы цикла «Письма с дороги» в настоящем томе).